В современной прозе тема деревни раскрыта не очень широко. Авторы в основном акцентируют внимание на отдельных личностях. Это хорошо видно в произведениях “Пелагея” Ф.А. Абрамова и “Знак беды” В.В. Быкова.

В обоих произведениях показаны противоположные характеры, однако в “Пелагее” характер Павла (противоположный характеру П.) покти не раскрыт. Вероятно потому, что главной целью автора было показать героиню произведения со всех сторон: решительную, умную, стойкую, властную, душевно добрую и в то же время не в меру честолюбивую и эгоистичную.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

АМОСОВА Пелагея Прокопьевиа треть жизни своей голодала. В 1933 году у нее "померли отец и брат с голодухи". В войну тоже было не лучше. А после войны на ее глазах зачах ее сын, первенец, потому что у П. "начисто пересохли груди". С той поры поняла П цену "тряпки" — это товар, на который можно было обменять кусок хлеба. И начала она загребать мануфактуру обеими руками, потому что знала: "не ситец, не шелк в сундуки складывает, а саму жизнь. Сытные дни про запас. Для дочери, для мужа, для себя.

Еще в молодости она отличалась сильным и решительным характером. И Павел, хоть и из хорошей семьи (по старым временам у Амосовых первое житье на деревне считалось), а робок был, сразу ей подчинился. Провожая мужа на войну — а было ей тогда девятнадцать лет — П. сказала: "На меня надейся. Никому не расчесывать моих волос, кроме тебя". И как сказала, так и сделала: за всю войну ни разу не переступила порог клуба. Сестра Павла Анисья, не отличавшаяся такой женской крепостью, очень уважала П.

До 1947 года П. работала на скотном дворе. "Руки выворачивали на этой дойке. А холод-то? А дождь? А каково это каждый день два раза мерить дорогу — от деревни до Сурги и от Сурги до деревни? Грязь страшенная, до колена, —и где уж тут присесть на телегу? Хоть бы бидоны-то с молоком лошадь вытащила". И вот от нужды, от тяжести, стремясь к новой жизни, одолев всех, П. устроилась в 1947 году на пекарню. Сделала она это через Олешу-рабочкома.

Увидал ее Олеша у открытого окошка за расчесыванием волос. "Ты как золотой волной накрывшись. Искры от тебя летят". И лапу запусти в волосы. А волосы и вправду у нее были особенные — однажды: на "вечерянке" знакомый парень протащил ее за волосы от окошка до лавки — проверял, выдержат ли. Из бани выйдет — не знает, как и расчесать, зубья летят у гребня. А в школе учитель все электричество на ее волосах показывал. Недели через полторы-две Олеша подстерег ее за полосканием белья на речке, П. ему пригрозила. И в третий раз они встретились опять у речки, и снова Олеша стал просить ее снять платок, показать волосы, хоть за деньги. "А вот устрой пекарихой за рекой — без денег покажу". — Как уж ей тогда пришло это на ум, она не могла бы объяснить. Олеша ее слова принял всерьез, и П. шаловливо прискинула платок — "дьявол, наверно, толкнул ее в бок". И Олеша совсем ошалел: "Ежели дашь мне выспаться на твоих волосах, вот те Бог — через неделю сделаю пекарихой. Я не шучу" —"А и я не шучу", — ответила

П. Через неделю она стала пекарихой. Олеша вырвал ее со скотного двора, все преграды вокруг разрушил — вот как закружило человека. Но и она сдержала слово — в первый же день на ночь осталась на пекарне. Но под утро посоветовала Олеше забыть о ее волосах. И предупредила: "Я кусачая..."

В этом произведении героиня не идеализирована: явно показано ее стремление к красивой жизни, любыми средствами даже такими (см. выше).

Олешу она забыла ("не для услады, не для потехи переспала она с чужим мужиком"(но даже это ее не оправдывает)). Беспокоил ее Павел: он ничем не выдал себя, только, говоря в тот день о бане, скосил в сторону глаза и посоветовал ей идти в первый жар (в этом эпизоде отчасти показан характер Павла (кроткий склонный все прощать): он видимо догадывался что произошло, но виду не подал. Но П. поняла его мимику и раскаялась в совершенном.). И в то утро она два березовых веника исхлестала о себя. Но подозрение живет в П.: не Олешина ли дочь ее Алька? — очень уж шальная у девчонки кровь... П., устроившись на пекарню, бросила вызов всем: председателю колхоза, который не) отдавал свою лучшую доярку (плохо П. работать не умела), колхозникам ("Это за каки таки заслуги такие корма Палаге ?"), Дуньке-пекарихе и ее родне.

В этом же сорок седьмом году произошло одно из самых памятных событий в ее жизни — недостача. Насчитал ей ревизор Петр Иванович пять тысяч без мала. Что только не передумала тогда П., топиться хотела, наконец П. "не будь дурой" бух в ногу Петру Ивановичу: выручи, Петр Иванович. Не виновата. И сама буду век за тебя Бога молить, и детям накажу. И отыскались пять тысяч — это, оказывается, Петр Иванович урок молодой бухгалтерше преподносил, "чтоб носа не задирала". Но не только бухгалтерше этот урок был — поняла П., что даровой хлеб с пекарни ему нужен. Погрел он руки об нее, без булки белой за чай не садился. Зато в компанию свою ввел, с хорошими людьми за один стол поместил, на почетное место. Завелись тогда полезные знакомства — председатель сельсовета, колхозный председатель, Иван Федорович из райисполкома — и всех она выручала хлебом, зато и ей продавцы на дом приносили товары.

Три года назад и Алька стала показывать норов — П. застала ее, тогда пятиклассницу, целующейся с молодым зоотехником. Зоотехника заслали в самую распродальную дыру в районе — в силе П. тогда была.

И сила эта была от ее работы, от отношения П. к ней . Чего только не делала П., чтоб хлеб был духовитее — воду брала на пробу из разных колодцев, дрова выбирала смоляные, чтоб без сажи, муку требовала первый сорт, а насчет помела и говорить нечего — все перепробовала, и сосну, и елку, и вереск. Только что вынутую из печи буханку П. смазывала постным маслом на сахаре — уж на это не скупилась. Тогда буханку любо в руки взять. "Смеется да ластится. Сама в рот просится".

В пекарне у П. чистота, там она любила чаевничать. Это были самые приятные минуты в ее жизни. Но до этого — надо растопить печь на пекарне (это после своей, домашней), поднять тридцать ведер воды, налить сто буханок черного да семьдесят белого, а главное, жариться у печки. После работы П. с тяжелой сумкой хлеба и неподъемным ведром помоев для поросенка шла домой, обязательно делая отдых у мостков через озеро. Ее встречал муж. Дома она сразу ложилась на голый крашеный пол, потому что он хорошо вытягивал жар из тела. Потом П. долго пила чай из самовара, "пять чашек крепкого чаю без сахара — пустым чаем скорее зальешь жар внутри". Иногда думала П. о помощнице, но ведь тогда помои пожиже и зарплата поменьше будут. Так и маялась до болезни мужа, когда заступила Алька на ее место.

Характер П. проявился не только в отношении к работе. Именно она изменила порядок застройки деревни. П. первая завела усадьбу при доме; до этого бани, колодцы строились "на задах". П. Амосова первая поставила баню, погреб, колодец и огород около избы, чтоб все было под рукой. И все это под оградой, чтоб ни пеший, ни конный, никакая скотина не могли к ней зайти без спроса. Вслед за П. потянулись и другие. Но сколько она вынесла напраслины! "Кулачиха! Деревню растоптала! Дом родительский разорила!". А с домом она поступила так. Дом Амосовых-старших был великаном: двухэтажный шестистенок с грудастым коньком на крыше, большой двор с поветью и сенником и сверх того еще боковая изба-зимница. Эту избу в сорок шестом отхватила старшая сноха (у Захара Амосова было четыре сына, а с войны вернулся только Павел). Затем потребовала своей доли вторая сноха — раскатали двор. И, наконец, последний удар нанесла П., решившая заново строиться на задах. По ее настоянию шестистенок разрубили пополам. И старого дома-красавца не стало. Этим ее попрекала золовка и даже — заезжий столичный любитель старины. Пенял, чуть не плакал: дескать, какую красу деревянную загубили. Особенно насчет крыльца двускатного разорялся. Крыльцо было красивое, П. это понимала. На точеных столбах. С резьбой. Да ведь зимой с этим красивым крыльцом "мука мученская": и воду, и дрова надо как в гору таскать. А в метель, а в непогодь — и того хуже.

Сначала, когда П. в сельсовете попросила пустырь за старым домом, ее подняли на смех. А она разглядела на месте пустыря лужок с душистым сеном под окнами. И теперь кто не завидует ей в деревне! Дом П. на загляденье (и Алькин ухажер, Владислав Сергеевич, оценил его): углы у передка обшиты тесом, покрашены желтой краской, крыша новая, шиферная (больше двухсот рублей стоила), крыльцо по-городскому стеклом заделано. А кругом ширь. Хорошо и внутри дома: комната просторная, чистая, со светлым крашеным полом, с белыми тюлевыми занавесками во все окно, с жирным фикусом, царственно возвышающемся в переднем углу. Дела по дому до своей болезни делал Павел. Он же всегда и встречал П. после работы.

В тот день, с которого начинается повествование, П. не увидела Павла в условленном месте и, почувствовав неладное, забыв про усталость, заспешила домой. Тут она узнала о болезни мужа. Другое известие больно ударило по ее самолюбию. Муж известил ее, что у Петра Ивановича вернулась с учебы дочь Антонида Петровна, и у них по этому случаю будет большой праздник, на который Амосовы не приглашены. П. всегда отмечала факты приглашения или игнорирования их с мужем и этим определяла, считаются ли с ней "власти". За годы работы на пекарне она привыкла быть на виду и не хотела оказаться "на задворках". Когда Павел напомнил, что сегодня у его сестры Анисьи день ангела и что надо поздравить ее, П. и слышать не захотела об этом — золовка не принадлежала к кругу избранных и, кроме того, вызывала снисходительное отношение П. своим женским непостоянством. Она отказалась идти к ней и тогда, когда сама Анисья пришла с приглашением, чем — П. сознавала это — очень обидела родственницу и опечалила Павла. П. сослалась на усталость, но эта причина перестала существовать, когда принесли записочку от Петра Ивановича: "Ждем дорогих гостей". Надев свои лучшие наряды, П. с мужем двинулась на праздник. Весть об этом принесли Анисье, и она, обиженная, весь обильный стол скормила деревенским "подружкам" — Мане-большой и Мане-маленькой, шалопутным старушонкам.

В гостях П. отметила, что их посадили не как раньше, на почетное место, а с краю, у комода, и не на стульях, а на доске. Но и этому теперь была рада П., очень ценившая знакомство с "властью". В гостях были все нужные люди: председатель сельсовета, председатель колхоза, председатель сельпо с бухгалтером, начальник лесопункта — неизвестно, кто из них может понадобиться, как жизнь может повернуться. П. обо всем привыкла заботиться сама при больном муже и на этой вечеринке проявила свои деловые качества: чуть председатель совета вышел из-за стола проветриться, она пошла вслед за ним (ей нужно было, чтобы Альке дали справку-открепление — не мыслила П. жизнь дочери в деревне, в колхозе). П. легко увернулась от давнего предложения начальника отдать Альку за его сына и, подхватив его под руку, повела в комнаты. "Так под руку с Советской властью и заявилась — пускай все видят. Рано ее еще на задворки задвигать". Желая показать, что ценит приглашение, П. уговаривала больного сердцем мужа выпить и достигла своего. Только Павел после этого совсем сник... Над этим приглашением П. долго ломала голову. Она привыкла анализировать поступки Петра Ивановича: зачем-то, значит, она ему понадобилась. Пекариха, понятно, теперь не фигура, а вот дочь у нее невеста, с этой стороны, решила П., она может быть и нужна Петру Ивановичу. А может, раз приглашение сделано второпях, исходило оно от председателя сельсовета — для его сына Алька тоже могла быть интересна. П. не случайно потом обвиняла себя в болезни Павла — ему повредило не только застолье, но и тяжелая для него встреча с сестрой в тот вечер. Увидя сестру, он "закачался, как подрубленное дерево". Да и П. упреки Анисьи не оставила без ответа, потому что не привыкла спускать никому. "А как же? Тебя по загривку, а ты в ножки кланяться? Нет, получай сполна. И еще с довеском...". Сознавая неприличность ситуации, П. успокаивала себя тем, что "не было поблизости хороших людей".

В этот день ей суждено было испытать гордость за свою дочь — чувство очень ей знакомое. Уложив дома совсем занемогшего Павла и оставив ему таблетки, П. пошла искать Альку, которой, как и многих парней и девушек в эту праздничную ночь, не было дома. Она нашла дочь у клуба и с неподдельной радостью любовалась ею, увидев, "в каком почете" у молодежи ее Алька (почет П. любила). За Алькой ухаживали комсомольский секретарь и рослый, красивый офицер. Ее дочь обошла Антониду Петровну, что было особенно приятно П. "Ее кровинушка верх берет!" И честолюбивая П. не могла позволить, чтоб это первенство нарушилось — когда Антонида Петровна предложила продолжать праздник у них, П. — напротив — пригласила всех к себе. Вела всю компанию домой — и удивлялась себе, пугалась Петра Ивановича: против кого пошла? Но желание видеть офицера подле Альки, доказать свою силу было

главным. В угаре гордости и решимости, любви к дочери П. даже не пожалела сена, которое забрызгала водой молодежь, балуясь у них во дворе. У П. "душа расходилась — сама смеялась пуще всех". А рядом, в избе без памяти лежал Павел, оставленный ею без присмотра. Успокаивая потом свою совесть, П. думала, что без офицера никто ничем не помог бы Павлу — фельдшер был пьян. Болезнь Павла сначала представлялась П. крахом. Но пекарню удалось удержать за собой — Анисья и Алька встали у печи

вместо нее. Только через три недели П. попала на пекарню: надо было проверить Альку, слишком вольно, по словам Анисьи, ведущую себя с Владиславом Сергеевичем. Идя на пекарню и из-за одного этого чувствуя себя помолодевшей лет на десять, П. не удержалась и больно "ужалила" Антониду Петровну, намекнув ей на ее одиночество. Сказала — и тотчас пожалела о сделанном, захотела загладить свою вину, пригласила "Тонечку" с собой. Это ощущение победителя прошло, как только П. оказалась на пекарне. Вначале она даже поздоровалась с печью, поняв, что без этой "каторги" и дышать ей нечем, как бы обняла все глазами. Но потом она дала острастку Альке, в пляжном виде (как и офицер) стоявшей у печи, разглядела три прогорелых противня, грязную стену, обтрепанный веник, но самый большой непорядок — хлебы, "двенадцать подряд буханок мореных и квелых". Распалилась П., но тут же осадила себя — офицер Павла от смерти спас, да и Алька целый день в жаре. Быстро сообразила, сбегала за водкой — поблагодарить офицера и солдат: душевной широты П. не занимать. П. искренне любовалась офицером, она видела в нем то, что больше всего ценила в людях — ум, волю, да еще подкупала ее в нем городская обходительность. Ей понравилось его обращение к ней — "мамаша": тут и намек на возможные отношения в будущем, и уважение, все отметила П. Большие претензии П. к жизни вновь заявили о себе, теперь она решила, что через Альку Амосовы в люди выйдут. За этот месяц П. помолодела и душой, и телом — будто сама была влюблена, так вдохновили ее мечты о счастливом будущем Альки. Но лишь мечтать П. не умела — она решительно начинает способствовать счастью дочери, задумывает созвать молодежный вечер у себя дома, чтобы заодно выведать намерения Владислава Сергеевича. Любила П. удивить всех — пять бутылок коньяку решила выставить. Закуска — рыба белая, студень, мясо. Раздобыла морошки — сгоняла за сорок верст Маню-маленькую. Набрала и малины — на нее тоже был неурожай. Вернувшись с малиной, оживленная, гордая, предвкушая предстоящее празднество, П. застает ужасную картину — Павел задыхался в тяжелом сердечном припадке. К тому же и Алька уехала в город, одна, вслед за офицером. Добила П. Анисья сообщением о беременности Альки. Все это укорачивает жизнь Павла: он умер на третий день после бегства дочери. У гроба П. не плакала — кого бы убедила ее скорбь? Она и так чувствовала себя преступницей. Она все выдержала: причитания, осуждающие взгляды, пересудные шепотки. А начали речи говорить — земля зашаталась у нее под ногами. Только тут, у гроба стала понятна П. жизнь Павла

Безотказно, как лошадь, как машина, работал Павел в колхозе. А П. не ценила этого, ни во что ставила работу мужа. Но более всего проняла ее другая мысль. Она думала о том, что "ведь лежит Павел, ее муж, человек, с которым — худо-хорошо — она прожила целую жизнь..." И тогда она "заревела во все горло. И ей теперь было все равно, что скажут о ней люди, какую грязь кинут в Альку". И начался у П. долгожданный отдых. "Вставала поздно, не спеша. Не спеша топила печь, пила чай, потом отправлялась в лес. Грибы да ягоды были ее страстью смалу. Ходила по знакомым с детства холмикам и веретийкам. Но много ли ей одной надо? Несколько дней убирала картошку, но и урожай не радовал — зачем ей столько? Трудно было П. отвыкнуть от мысли о семье, приноравливаться к одиночеству.

Она изнывала, ожидая писем от Альки, но та уехала как в воду канула. И П. кляла, ругала дочь последними словами, а после еще пуще жалела ее: одна, в чужом городе, без паспорта. Многое перевернула в П. встреча со скотницами на Сурге (П. забрела туда в поисках грибов и ягод). Работа у них теперь — не то что раньше, когда П. сама была скотницей, многое теперь делают машины.

Лида Вахрамеева — Алькина ровесница — прежде чуть на себя руки не наложила, когда отец ее определил к коровам (как и Альке, Лиде плохо давалась школьная грамота), а теперь посмотреть — и счастливее ее человека нету. П. подумала, что ведь и Алька могла бы работать дояркой. Чем это не работа? "Всю жизнь, от века в век, и матерь ее, и бабка, и сама она, Пелагея, возились с навозом, с коровами, а тут вдруг решили, что для нынешних деточек это нехорошо, грязно. Да почему? Почему грязно, когда на этой грязи вся жизнь стоит?" После этой встречи П. много плакала. Осенью П. занемогла. Поначалу она, как и ее мать в подобном положении, не хотела поддаваться болезни и даже задумала устроиться дояркой, в очередной раз удивить и победить всех. Она уже представляла, как о ней заговорят: "Железная!" Но вскоре эту гордую мысль пришлось оставить. И все-таки П. не сдавалась — целыми днями делала что-нибудь возле дома. Полюбила она сидеть возле черемухового куста и глядеть на реку — хорошо думалось тут. Больше всего думала П. о том, как она своей должностью пекарихи всех одолела, всех на лопатки положила. "Одна. За один месяц. А чем? Какой силой итростью? Хлебом!". Это было борьбой — за себя, за свою семью, за своего второго ребенка, которого она не желала погубить, как это случилось с их первенцем. В октябре П. предложили ехать в районную больницу, но она отказалась. Свою болезнь она знала лучше врачей — огня, жары не выдерживали даже кирпичи на пекарне, а ведь она человек, к тому же не отдыхавший за эти восемнадцать лет ни одного дня. Во время болезни к П. редко кто заходил. Но на 7 ноября — и поначалу это П. восприняла как обиду — зашла Маня-большая. Этот праздник больше всех других любила П.: раньше в этот день в семье П. меряли обновы, Павел и Алька собирались на демонстрацию, забегало начальство пропустить стаканчик. И вот теперь — эта шалопутная старушонка. Но она принесла весть об Альке, и "словно лето спустилось в избу", и П. заговорила с Маней "своим прежним, полузабытым голосом, тем самым обволакивающим и радушным голосом, против которого никто, даже сам Петр Иванович, не мог устоять". Оказывается, сельсовет выдал Альке справку на паспорт — огромная удача; из-за этой справки много сил потратила П. И снова размечталась П. — о том, как бы посмотреть на Алькино житье, да не убежишь в город — "на привязи у болезни". Она обрадовалась, когда Маня предложила сама съездить за счет П., все посмотреть и "обрисовать положение". Маня ездила в город девять дней (на три дня больше, чем договаривались), и последние ночи П. почти не спала. Встретила она Маню как самую дорогую и желанную гостью. Но когда П. узнала о том, что Алька работает официанткой в ресторане, у нее "погасли глаза". Еще больше она встревожилась, когда узнала, что Владика Маня не видела и дома у Альки не была. Но все же от главного известия — что Алька жива-здорова — материнское сердце успокоилось, и П. потянуло на жизнь: она все перемыла и стала сушить наряды. Эти "тряпки" П. копила всю жизнь, видя в них эквивалент хлеба, настрадавшись в голодную пору. Привыкшая спрашивать совета у своей совести, П. потом со стыдом вспоминала это время, когда они вдвоем с Маней "перемывали косточки" всем на деревне, а особенно Тонечке, потому что Алькина удача оттеняла серое существование дочери Петра Ивановича — опять П. почуяла вкус победы. Именно через Тонечку — так считала П. — и наказал ее Бог. Дело в том, что П. давно мечтала иметь плюшевый жакет, и когда прямо к ней в дом пришла продавщица с приглашением прийти за ним в магазин, то П. в этом увидела знак уважения, признания и очень обрадовалась. Купила для себя и для Альки, а по дороге из магазина, встретив Антониду, захотела перед ней похвалиться, как высоко ценят ее — развернула плат и похвасталась жакетом. Исполнившись жалости к Тоне, как это часто с ней бывало после приступа гордыни, она предложила жакет девушке, но Тоня, смущаясь, поведала, что они уже не в моде и, кстати, висят в магазине уже год. От этих слов П. "пошатнулась". Это был для нее страшный удар. И не то, что ее провели, ей показалось страшным — всегда кто-нибудь кого-нибудь надувает — а то, что П. попалась в ловушку к этой продавщице. Лейтенант проезжий надул, теперь вот эта. "Да как тут жить дальше?" И П. зло расплакалась. "Господи, на что ушла ее жизнь?" С этого дня она опять слегла. Всю зиму П. болела. Письма от Альки приходили короткие да неласковые, из них непонятно было, одна она или с Владиком. Какие-то перспективы перед П. замаячили после визита Сергея, сына Петра Ивановича. Из смущенных признаний выпившего парня П. поняла, что его "сердце разбито Алей" — так он ответил на ее упреки, что раньше они не ведали про "настроение", "дай Бог кусок хлеба заработать. Да с ними тогда и не церемонились. Утром в лес не вышел, а к вечеру тебя уже в суд повели". П., конечно, не очень верила Сережиным пьяным вздохам, но Альке письмо все же написала. Ее грубый ответ поразил мать: "Хватит с меня и того, что ты всю жизнь на Петра Ивановича молишься". "Да что же это такое?" — говорила она себе. Как жить дальше? Ведь что бы она ни делала, все невпопад, все мимо... Но сокрушило П. не Алькино письмо. Сокрушила ее пекарня. А ведь именно на нее поначалу надеялась П., думала, что пекарня излечит ее от всех хворей, "стоит только увидеть ей свою пекарню да подышать хлебным духом". В феврале она не смогла дойти до нее из-за снежных заносов. Зато с "первой затайкой" П. вышла к пекарне как на богомолье — чистая, благостная — вечером накануне специально сходила в баню. Зато уж домой она шла как пьяная, вся в слезах, не помня себя... Около пекарни была помойка, в пекарне — поросенок, все не мыто, засалено, в окошке веник торчит. А вместо помела, о котором столько заботилась П., — черная, обгорелая рогожина, намотанная на длинную палку и погруженная в ведро с водой. От вида Ульки-пекарихи — грязного, неопрятного, П. едва не стошнило. "Все ей казалось, что и самовар, и рукомойник, и печь с тоской и укором смотрят на нее... "И П. слегла. В доме хозяйничала Анисья, которую не любила П. и не скрывала этого, завидуя к тому же здоровью золовки. Еще одна попытка П. выкарабкаться, выйти с задворок жизни связана с приходом к ней Петра Ивановича. За год, что прошел с похорон Павла, Петр Иванович сильно сдал и был — невиданное дело — под хмельком. Гость, как всегда, "заговорил петляво, издалека", и П., хорошо знавшая деловую хватку этого человека, гадала: с чем он пришел? Он заговорил об Альке — П. не выдала своего волнения. Не сдержалась она, когда Петр Иванович сообщил ей, что Алька живет одна. Защищая свою "кровиночку", не желая быть побежденной, П. заявила: "А хоть бы и одна, дак что? Моя дочь не пропадет. Ина березка и с ободранной корой красавица, а ина и во девичестве сухая жердина". Намек был страшный — умела П. наносить удары — и неуязвимый Петр Иванович проронил слезу. Он (у нее!) просил помощи — Сергей, действительно, спивается от тоски по Альке. "Темное, мстительное чувство захлестнуло ее". Только теперь она поняла, что всю жизнь ненавидит его. Ненавидит с того дня, когда он насчитал на нее пять тысяч рублей. Ради его компании П. жизнь свою и своего мужика загубила. И ей хотелось крикнуть в лицо Петра Ивановича: так тебе и надо! На своей шкуре опознай, как другие мучаются... Но вслух П. пообещала написать Альке. После ухода Петра Ивановича, хотя и душил кашель, вей же П. было необыкновенно хорошо — до знойного жара в груди. Она не сомневалась, что Алька напишет. В одной упряжке с таким человеком оказаться! Это каких же дел можно наворотить — встала П. на привычную колею размышлений.

"На какое-то мгновение она потеряла сознание, а потом, когда пришла в себя, ей показалось, что она стоит у раскаленной печи на своей любимой пекарне и жаркое пламя лижет ее желтое, иссохшее лицо".

Она, по старой привычке, легла на пол, и там ее мертвой нашла наутро Анисья. Алька приехала через неделю после похорон, справила поминки — небывалые, неслыханные по здешним местам, потом распродала отрезы на платье, самовары и прочее добро, нажитое матерью. На пятый день Алька уехала — ей не хотелось упустить веселое и выгодное место на пароходе.

В произведении “Пелагея” явно сделан акцент на раскрытие характера героини, но сюжет этого произведения пропитан деревенской жизнью. И читая это произведение трудно не пропитаться ею.

Приблизительно то же самое происходит в произведении Быкова “Знак беды”. Здесь показаны все трудности деревенской жизни во время коллективизации и войн. Это произведение более драматическое, и в нем больше уделено внимания жизни деревни чем в “Пелагее”.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ПЕТРОК БОГАТЬКА. Ему шестьдесят лет. По слабости здоровья служить в армии П. не пришлось. С молоду он батрачил по фольваркам пока не женился на Степаниде и не стал работником у пана Яхимовского. Получив после экспроприации свой надел земли, он не мог сдержать "неожиданной радости: шел на хутор, считай, батраком, а вот стал хозяином и теперь осматривает свои нивы и пажити". Это событие стало для него, как и для Степаниды, началом новой жизни.

Однако радость по поводу земли была недолгой, ибо была она "не дай Бог — камни, суглинок, который в засушливый год становился как скала". В первую же пахоту, не выдержав, пала молодая кобылка. П. стал копать "вручную лопатой, ковырял, долбил, рубил проклятый суглинок...". "Четыре дня с утра до ночи они в две лопаты долбили суглинок и все-таки одолели его, и засеяли, заборонили в срок. Спустя несколько дней П. вкопал в это проклятое место огромный крест, сколоченный из бревна: а вдруг Бог и впрямь поможет, "отведет беду от этой их проклятой людьми и Богом земли". И всякий видел этот "знак человеческой беды", с тех пор это место выселковцы прозвали "Голгофой".

Но П. не сдавался, работал как проклятый. "Он усердствовал в любой работе: пахал, мельчил комья, удобрял каждый клочок почвы, потом сам косил, свозил и снова пахал, сеял, бороновал", бывший батрак так отдался хозяйничанию на своей земле, что надорвался. Он "выкладывался днем и ночью, а результат был ничтожный". Очень скоро стало ясно, что "в этом бесконечном поединке с землей" не только не разбогатеешь, а "раньше времени переселишься на деревенское кладбище в сосны". Когда Степанида заговорила о колхозе, П. особенно не возражал.

П. в отличие от жены из тех, кто рожден ползать, он задумчиво, молча дымит "вонючей своей махоркой", будто навсегда озадачен фокусами жизни, постоянно задавая себе вопрос: "Как дальше жить?". По натуре своей П. был человеком "тихим, таким, как и большинство в Выселках: в меру осторожным, уважительным к другим, немного суеверным и набожным. Таким же были и все его предки" У истоков этого характера — батрацкая доля, стойкое ощущение своей оттесненности, малости, какой-то неминучей подвластности хозяевам, власти, старой и новой ("...был научен за долгую жизнь всего побаиваться").

Когда началась "самая горячка с колхозом", П. не ходил на собрания, не метался, подобно Степаниде, по хуторам и местечкам. "Всю жизнь он хотел только одного — покоя. Чувствуя себя слабым и от многого зависимым человеком, жаждал как-нибудь удержаться в стороне от захлестывающих мир событий, переждать, отсидеться". Ему было жаль расставаться со своим "коником", которого "только год назад нажили, и теперь отдавать" в колхоз. П. частенько злился на жену за ее несговорчивость, за то, что уходила на целый день в местечко на собрания комбеда или на ликбез ("Бросила все, побежала"), оставляя на него все хозяйство. Разве это мужицкое дело выполнять бабью работу по дому! П. "готов был провалиться сквозь землю от стыда", когда Степанида "наговорила многое из своих обид на порядки в колхозе неожиданно заехавшему на их хутор минскому начальству. Ему было страшно неловко за жену, он впервые в жизни устыдился и "собственной фамилии, так несуразно прозвучала она на этом убогом, заваленном снегом дворе". Да разве "можно что путное внушить женщине? То, что для тебя ясный день, ей кажется ночью". "Правда, эти рассуждения вертелись только в его голове, вслух же он лишь тихо огрызался, зная по опыту, что злой жене лучше не перечить, его верха все равно не будет". "Уж такая натура: скорее отдаст, чем возьмет. Легче уступить, чем своего добьется.

Не любил ссориться, ему чтоб все тихо". Опять-таки по настоянию Степаниды отправился П. в Минск, в Дом правительства, к товарищу Червякову с крестьянским прошением за арестованного председателя да долг вернуть, червонец, который дал ему однажды Червяков на лечение заболевшей дочери. Но "разве по П. это было?" Однако были в его жизни случаи, когда и он поступал по-своему.

В молодости П. играл на скрипке. "Однажды на ярмарке в местечке попросил у какого-то цыгана немного поиграть", Степанида стояла рядом и похвалила, он загорелся: куплю! Мечта заиметь свою скрипку привела его уже на шестом десятке лет к еврею-торговцу, и червонец, который дала ему Степанида на покупку сапог, отдал за "красную блестящую скрипочку с черной декой и красиво изогнутыми вырезами по бокам", да еще два червонца остался должен. Жена всплеснула руками: "До скрипки ли теперь, когда не сегодня, так завтра придется свести в колхоз лошадь, ссыпать семена, отдать сбрую, сани, телегу...".

Было время, когда П. чувствовал себя хозяином Яхимовщипы, "одного скота здесь водилось более десятка голов: лошадь, молодая кобылка, две коровы... шесть или восемь овец. Ну и свиней, конечно, не менее двух". Хорошо или худо, но он "правил усадьбой". Хата, правда, "давно уже была не новая", но она еще постоит. "Крышу в коньке надо залатать... в истопке даже льет, в сильный дождь на глиняном полу образуется лужа". Но П. "не очень хотелось тащить свои кости по шаткой стремянке на крышу", а то "потревожишь гнилую солому, польет сильнее". "Самая, может, справная здесь постройка — это новая пунька за хлевом". Ставили ее вдвоем с Федькой, думалось, если не самому, так, может, сгодится сыну". Отслужит в армии, женится и продолжит род. "Но вот почти все подошло к нулю, только и забот, что коровка, малый кабанчик да этих девять куриц...

Дети, едва оперившись, рано выпорхнули из родительского гнезда, их не вернуть. А тут эта война, наверное, она добьет окончательно". "Что теперь будет? Чего ждать от немцев?.. И как жить дальше?". П., и в мыслях неспособный сделать никому зла, настраивал себя на то, что "надо как-то переждать лихое время, затаиться, притихнуть, а там, глядишь, изменится все к лучшему. Не вечно же длиться этой войне. Но, чтобы остеречься беды, надо вести себя как можно осмотрительней и тише". "...Коли к ним по-хорошему, то, может, и они... Не съедят, может...". Когда нагрянули полицаи — Гуж с Колонденком — П. засуетился, собирая нехитрую еду на стол, выпил вместе с ними, прикрикнул (когда такое было!) на строптивую Степаниду, боясь не столько за себя, сколько за нее ("если разозлится, то никому не уступит, будь перед ней хоть сам господь Бог"; "конечно, он сволочь, бандюга, немецкий холуй, но ведь он власть!.. С волками жить — по-волчьи и выть").

Нет, "и в помине нет твердости, мужицкой самостоятельности, со всяким он готов согласиться, каждому поддакнуть", — неприязненно думает о П. жена. "Можно подумать, что людская покорность делает кого-то добрее. Скорее наоборот". И в конечном счете права будет она. Словно "незрячие" глаза немцев не видели, не замечали усилий П. Напротив, П. переживает не раз ужас смерти, чувствует ее холодное дыхание — когда офицер расстреливает газетный снимок Сталина, висевший на стене, стегает цепью Степаниду, убивает из пистолета не принесшую молока Бобовку.

Какое-то время П. с тихой завистью наблюдал за четким распорядком, существовавшим у немцев, неукоснительной дисциплиной. С готовностью играл он для них на скрипочке народные мелодии, забыв и про кур, и про жену. Скрипка П. — причуда и отрада его молодых лет — сыграет, откупаясь, спасая, потешит чужое ухо. Но в ту же ночь немцы убили пастушонка Янку, слишком близко подошедшего к хутору: "свелся на нет и без того немногочисленный, горемычный род выселковских Гончариков".

Немцы вскоре выехали, и "свои" полицаи вновь почувствовали себя хозяевами. От них ни спрятаться, ни убежать. Да и "куда было убегать? Он прожил здесь половину жизни, вырастил двоих детей, познал столько забот, страха и горя, а может, немного и радости... Ведь у них сила, а что осталось у него? Пара натруженных рук, ревматизм в ногах и шестьдесят лет за плечами... Разве что малость схитрить, но и то с немцами, а... своих не обманешь". Проработав по приказу Гужа целый день на копке земли, П. понял, что второго такого дня ему не выдержать. Знал он и то, что от Гужа, как от немцев, скрипочкой не откупишься — нужен самогон. "Когда-то, еще до колхозов, П. предпринял не очень удачную попытку изготовления самогона", но уполномоченные из округа, искавшие лен, наткнулись на самогонные инструменты в истопке — и тут же их и реквизировали. "Потом он платил штраф, натерпелся позора на собраниях и надолго проклял малопочтенное дело самогоноварения. Но это было давно. Петрок всем нутром чувствовал, что водка становится едва ли не единственной ценностью в жизни...".

И пошла скрипочка Тимке Рукатому в обмен на змеевик. "Боже мой, — думал П., — глядя на суетливую пляску огненных языков по казану, — что делается на свете!.. Как жить с этим Гужом, который видит тебя насквозь и еще таит зло за прошлое". Ему не жалко ни хлеба, ни трудов, лишь бы самогонкой залить его ненасытное горло. Для спасения варил П. это зелье, однако муки его из-за самогона оказались напрасными. Ушли свои полицаи, пришли чужие, прослышав про "горелку", но той уже не было. Вызверившись, полицаи учинили над стариком расправу, один из них "пнул Петрока сапогом в грудь и за шиворот, словно щенка, поставил к стенке" и начал стрелять. Степаниду еще раньше он ударил чем-то по голове, и та без сознания лежала в сенях. На какое-то время и П. потерял сознание. "Видно, вообще жизнь кончилась... они не дадут помереть по-человечески, своею смертью, они доконают насильно". Новый день принесет лишь "новые мучения, может, смерть даже, потому как сколько же они будут играть в убийство...". "Если нет иного спасения, то и самогон — не спасение".

Эта ночь что-то сдвинула в сознании П., "безнадежно сломила, сбила ход его мыслей с привычного круга". "С самогоном все кончено. Он старался, чтобы получше выгнать. Кому? О ком заботился, дурень?.. Но и он не дурак... он не позволит им оседлать себя и ездить как им захочется, он еще постоит за себя". Страх постепенно истаивает в душе П., власть инстинкта самосохранения отступает перед человеческим достоинством. Откопав в лесу заветную бутылочку, сбереженную для себя и тяжко раненной Степаниды, П. не донес ее до хаты: там его уже ждали Гуж с Колонденком. Он успел только выбросить бутылку с остатками самогонки, как засвистели пули, посыпались удары жердью, сапогами...

Они поволокли П. через огород, а "он думал только: что еще сказать этим сволочам?". "В нем снова поднялась и подхватила его гневная волна обиды и отчаянья, она придала силы, и он решил не сдаваться". "Он думал, что милости у них не попросит, как бы ни довелось ему худо. Только бы выдержать". Полицаи связали ему руки, вожжами, найденными в истопке, "с другим концом в руках полицай взобрался на лошадь". П. "вынужден был побежать за Колонденком, который ногами пинал в бока лошадь, а Гуж размахивая прутом, погоня его сзади". П. "не успевал, спотыкался, едва не падал... лицо его снова стало мокрым о слез". Это был конец. П. "пропал, исчез с этого света, как и для него пропали хутор, жена Степанида, Голгофа, пропал целый мир".

СТЕПАНИДА БОГАТЬКА, пятидесяти лет от роду, родилась и до замужества жила в Выселках. Молодой девкой она четыре года была батрачкой у старого пана Яхимовского. "Не мед был тот хутор, но что она могла без земли, без приданого, бедная приживалка в неласковой и малоземельной семье старшего брата...?". Каждый день ходила она в Яхимовщину, "вставала раненько, на заре, и через болыпак бежала на хутор. Надо было подоить и выгнать на пастбище двух коров, заготовить корм для свиней и гусей — тех и других было немалое стадо". "Ей хватало хуторской усадьбы, огорода, скотины, не дававшей передыху ни зимой, ни летом". "За все годы службы в Яхимовщине... через нужду и бедность берегла свою честь, старалась, чтоб никто, никогда и ни в чем не упрекнул ее. А ведь она могла бы и взять, не спрашивая, в ее руках было многое, считай, все хозяйство". Пан Адоля "был неплохой человек", он ценил в ней "старательную работницу и еще больше уважал за добросовестность".

Несколько месяцев прождала С. сватов от вдовца Корпилы, но тот, хотя и сделал, вроде бы, ей предложение, сватов так и не послал. Обвенчалась С. с выселковским Петроком. В Петроковой семье им скоро стало невмочь, С. сразу не поладила со свекровью и попросилась у пана Яхимовского в "истопку", все равно все хозяйство его было на ней, "а новый батрак Петрок будет ей в помощь, куда же деваться им без хаты, без своей земли и хозяйства". Яхимовский согласился. То была "первая весна их совместной с Петроком жизни, пускай не на своей земле, в чужой хате, зато в любви, мире и согласии. Она уже ходила с зарождающейся жизнью под сердцем...".

Вся жизнь С. и ее семьи проходит по крутым вехам судьбы. И первой такой вехой стала экспроприация Яхимовского хутора и земли. С., как и остальные батраки и безземельные, получила свои две десятины. "Она готова была плясать от радости: это же подумать, они заимеют землю — без денег, без ссоры, без судов и прошений". Но увидев старого пана Адольфа, ей стало неловко, наступившая бессонная ночь "была полна размышлений, тревог, колебаний", оба они так и не придумали "чем успокоить совесть". "Ей было жаль его, и эта жалость сильно омрачала их большую радость начала хозяйствования на собственной земле", счастливое сознание того, что и вороная кобылка, и пегая корова, а потом, после гибели пана, не вынесшего потери имения, почти вся усадьба — их.

"Впереди была вольная жизнь со множеством забот, тяжелым трудом, но без принуждения, жизнь, где все, плохое и хорошее, будет зависеть только от них двоих и ни от кого более. Это было счастье, возносившее их под самое небо, удача, которую можно было разве что увидеть во сне". "Сначала зажили, и неплохо, вволю наелись своего, а не панского хлеба, обзавелись скотиной, лошадью". Когда родилась Феня, С. не убереглась со здоровьем, Петрок вынужден был тянуть за двоих и надорвался. Стало ясно, что одним свою "Голгофу" не потянуть. "Колхоз так колхоз, сказала она себе, как бы там ни было, а хуже не будет, авось не пропадем и в колхозе". За себя С. не очень боялась, она как все, а если шла добровольно первой, так, верно, потому, что в случае неудачи теряла немного — была беднячкой и полной мерой познала нужду на двух десятинах суглинка, хотя и страшновато было. Деятельная и решительная, С. становится членом комбеда, ходит на собрания правления. Она "привыкла судить о большом по малому, о мире — по своей деревне", и не ошибалась.

Она знала. что хорошие люди не поступают подло ни по своей воле, ни по принуждению. Знала она, что жить надо по-доброму, по-человечески, по-справедливости, и мудрость эту она сохранила в себе до последних дней. Поэтому она голосует против раскулачивания середняка Гужа и других селян, в том числе и немощной старухи Прохорихи, которая также, по причине старости, пользовалась "наемным трудом". "Степаниду пронзило болью от мысли: что же это делается? Дурье вы!.. Олухи! Кого раскулачиваете?.. Давайте всех! И меня тоже — батрачку пана Яхимовского". Она жаждала справедливости: "Надо в Москву ехать, к самому Калинину". Но ей не удалось добраться даже до райцентра, ибо в молодом соснячке ее обобрал сын раскулаченного Гужа, Змитер.

С. понимала, "что-то в мире запуталось, перемешалось зло с добром или одно зло с другим". Она "хорошо чувствовала одно: так не должно быть, не по-человечески это, значит, надо было что-то делать. Не лежать, не ждать, не мириться...". С. бегает по окрестным хуторам и местечкам, собирая подписи в защиту репрессированного председателя колхоза Левона Богатьки, посылает своего Петрока, за всю свою жизнь никуда не выезжавшего с Выселок, в Минск, к товарищу Червякову. Муж должен подать прошение с подписями, а заодно вернуть червонец, подаренный Червяковым однажды, когда председатель ЦИК Белоруссии и еще трое мужчин заглянули к ним в хату пуржистым днем обогреться.

Для этой поездки она одолжила два червонца у Корнилы. По вечерам С. ходит в нетопленую школу на занятия ликбеза, сидит там до полуночи, а потом, при свете коптилки, выводит слова. В сундуке она хранит предмет особой своей гордости — грамоту за успехи в обработке льна.

Когда нагрянет новая и самая страшная беда — война, полицай Гуж, тот самый, что когда-то обобрал ее в соснячке, будет ругать ее "активистской". С войной нормальная, упорядоченная жизнь хутора закончилась. Сначала по большаку денно и нощно потянулись на восток бесчисленные колонны войск, и все "тут ревело и стонало от машин, подвод, лошадей...". Но однажды все стихло. "Настала новая, страшная в своей непривычности жизнь под немцем". Началась она с того, что "в Выселках распустили колхоз, разобрали небогатое его имущество, инвентарь, лошадей". Лошадь свою они не вернули, и вся надежда С. была на корову Бобовку, которую она каждый день пасла в укромных от чужих глаз местах." Правда, за эти два месяца жизни под немцем она поняла, что ото всего не устережешься, как ни скрывайся, а если они захотят, то найдут. Тем более что у немцев выискались уже и помощники из местных, полицаи, которые всех тут знают наперечет". С. было жаль своей хаты, своей земельки, "этот проклятый Богом пригорок по прозванию Голгофа, как жаль пусть и больного, единственного ребенка. Сколько тут выходили ее молодые ноги, переделали работы ее изнуренные руки! Сколько лет они с Петроком тут пахали, сеяли, жали... К той же нехитрой крестьянской работе со временем приобщился и Федя. Феня же захотела учиться и уехала в Минск". Федя еще осенью пошел в армию. "Где теперь ее дети?".

Раньше разнообразные "домашние хлопоты никогда ей не были в тягость, даже после утомительной работы в поле. Теперь же наступление вечера ее мало радовало, не влекла и стряпня возле печки — семьи, считай, не было: один за другим отошли на тот свет старики, чуть повзрослев, разлетелись дети, незаметно минуло все трудное и хорошее, что... с ними было связано... а двум старикам много ли надо?".

С. знала, что "случилось плохое... Потом она не раз будет вспоминать это свое предчувствие и удивляться, как верно оно подсказало ей приближение того, что так внезапно перевернуло всю ее жизнь". С. — натура сильная, самостоятельная, способная перечить и противостоять обстоятельствам. "Унижать себя она никому не позволяла, она умела постоять за себя". Так было прежде, когда она разоблачила перед районным начальством вора и пьяницу кладовщика или, будучи звеньевой, защитила от ложного обвинения своих баб. Вот и сейчас она зло и независимо разговаривает с заявившимися на хутор полицаями. "Степанида их не боялась, потому что презирала. Более того, она их ненавидела". Она выговорила Петроку за его стремление угодить Гужу и выполнить его требования. Но она жалела своего "незадачливого Петрока, который часто злил ее, временами смешил, редко когда радовал... Он был человек неплохой, главное, не злой, только мало проворный и не очень удачливый в жизни".

Появление на хуторе полицаев было лишь предвестием настоящей беды. Она пришла в осенний, набрякший от дождей день с новыми постояльцами — немцами. Сколько их еще будет, этих знаков беды! "Война ухватистой лапой подбиралась все ближе, а теперь и вовсе забралась в хату, под иконы, в застолье". Остается "терпеть все молча и ждать лучших времен? Вряд ли дождешься. Чувствовала она своим сердцем: за малой бедой последует большая, вот тогда заревешь и никто тебе не поможет...". С. прячет поросенка в барсучью нору, будто вместе с теплым, живым существом спасает что-то очень дорогое, домашнее, какую-то надежду, едва ли не саму жизнь. Она видит, как немецкий солдат разрубает, разделывает то, что было ее Бобовкой. Родной, выстоявший в стольких бедах мир меркнет, всему нормальному приходит конец. Приход немцев — это вторжение чужого, бесстыдного, бесцеремонного; твое, родное вдрут заполняется чужим запахом, чужим говором, а тебя выгоняют из хаты в истопку. Это страшно, но боли и горечи в С. больше, чем страха. Когда немцы войдут в ее хату, "из-за их спин она будто впервые, чужими глазами увидела свою давно уже не новую хату с перекошенным простенком и потемневшими балками потолка, стенами, оклеенными старыми, пожелтевшими газетами. Пол она давно не мыла и теперь с досадой взирала на грязноватые, с присохшей картофельной кожурой доски у порога, закопченные чугуны возле печки". Присутствие чужого, враждебного С. ощущает постоянно: оно в том, как черпали чужие руки молоко из подойника, как жадно они тянулись к ее корзинке с яйцами, выбирая получше. Забот и тревог было множество, но С. "была не из тех баб, которые при первой же беде бросаются в слезы".

Когда ее хитрость с молоком не удалась (подоив Бобовку самую малость, С. надеялась, что чужому человеку корова молока уже не даст), фельдфебель озлобленно стал стегать ее цепью: она не тронулась с места, "стояла, одеревенев, словно неподвластная смерти и ежесекундно готовая к ней". "Смейтесь, проклятые, забавляйтесь, — подумала она, — бейте несчастную женщину, которую некому защитить". "И ты встань, Петрок, негоже ползать перед ними на коленях... Она все стерпит". Очень хотелось заплакать, но слез у нее давно не было, был только гнев. Кажется, не внешний, божий мир меркнет, а само сознание С. Мысль о будущем уходит, похоже, будущего у них и нет: "Может, не застрелят до вечера, еще поживем немного".

Но С. была из непокорных. В следующий раз она выдоит свою Бобовку прямо в траву, из-за чего и лишится своей коровки. С. не слишком убивалась по ней, "она чувствовала, что... неотвратимая опасность приближается к ним самим вплотную". "Конечно, можно было как-то подмазаться к чужеземцам... но, думала она, разве этим поможешь? Опять же с детства она не угрела насиловать себя, поступать вопреки желанию, тем более унижаться". И никто никогда на нее руку не поднимал, даже Петрок. Она "не могла примириться с собственным бессилием, жаждала выхода, какой-то возможности не поддаться, постоять за себя". Случай представился, и С. его не упустила: ночью она бросает в колодец забытую немецким поваром винтовку. Лишь однажды за все это страшное время прошлое нахлынуло на С., когда по приказу немцев Петрок заиграет на своей скрипочке печальную музыку некогда любимой ею "Купалинки". "Из глаз выкатились одна за другой несколько слезинок, она быстренько стерла их с лица уголком жесткого платка и снова затаилась слушая".

С. изводили не только пришельцы, но и бывшие "свои", переметнувшиеся, усердные и усердствующие, словно их безвинность и была самой главной виной. Она все хотела понять, что заставило Антона Недосеку, в прошлом комбедовца, стать полицаем. Заботао детях? Но они же и проклянут его, и лучше бы он умер для них. Для С. Недосека из тех, что "от природы слепы ко всякому проблеску человечности, заботятся лишь о себе, иногда оправдываясь детьми", "дальше своего корыта им не дано видеть". "Своими" же, полицаями, С. была избита так, что не видела, как они увели Петрока, не смогла за него заступиться. Полицаев она не боялась, хотя и понимала, на что они способны; не боялась уже и немцев, "в ее сознании они так и не стали людьми, а остались чудовищами", жалела, что не подожгла вместе с их офицером свою хату. "Кажется, она вынесла отпущенное ей сполна, пережила свою судьбу. Хотя вроде бы и не жила на этом трудном, Богом созданном свете. Все собиралась, откладывала на потом...". "Всю жизнь она только и делала, что ждала". С. мечтала не разбогатеть, конечно, а зажить безбедно, без страха за завтрашний день. Она не ждала благодеяний, она хотела иметь ею заработанное. Она надеялась не на чудо, а на власть, которая называла себя рабочекрестьянской. Но даже от немцев, явившихся под их липы. она вынуждена защищаться сама. И от мстительной, бандитской злобы бывших "своих" тоже сама. "На счастье или на беду, она знала, в чем ее хватит с избытком, от чего она не отречется хотя бы на краю погибели. За свою трудную жизнь она все-таки познала правду и по крохам обрела свое человеческое достоинство. А тот, кто однажды почувствовал себя человеком, уже не станет скотом". От неминуемой беды ничем уже не оборониться, но мысль о близкой гибели не парализует воли С. ("Разве теперь страх — поводырь?"). "Вон Петрок на что уж боялся, даже угождал им, лишь бы избежать худшего. Но чего он этим добился?". Она отдает последнее, что у нее было — поросенка другу молодости, Корниле, за неразорвавшуюся бомбу, которую тот припрятал: вдруг сгодится — и сгодилась. С. уже присмотрела и место под мостом, где можно было пристроить бомбу. Ночью она прячет ее, закапывая в яму.

Но уже к вечеру следующего дня она увидела четверых мужчин, шагавших к ее хутору. "Уже издали она узнала почти каждого из них и сказала себе: "Ну, все!". "...Бабахнул первый выстрел. Рудька пронзительно взвизгнул и смолк — уж не навсегда ли? Она поняла, теперь ее очередь". Но она "не Рудька. И не Петрок... Еще она с ними поборется, и по своей воле она им не дастся". Когда-то "перед приходом немцев растаскивали в местечке магазины, Петроку не досталось ни сахару, ни соли, и он оправдывался перед женой, что притащил керосину, скоро зима, пригодится!" Керосин пригодился. Неспроста же бутыль постоянно попадалась на глаза. "Степанида вытащила из узкой горловины деревянную затычку и плеснула на дверь, потом на обестороны от нее — на стены и в угол... Бросив на пол посудину, она из маленького кармана ватника достала спички...". "Степанида упала ничком на твердый земляной пол, утоптанный за годы ногами панов, шляхтичей, батраков, ногами Петрока, ее мужа, и ее детей" — то было последнее прикосновение к давнишнему и родному, к тому, что шло издалека и продолжалось, подхваченное ею, ее семьей".Всю свою жизнь С. боялась пожара. Не раз ей даже снилосьночью, как горит ее Яхимовщина. Но выпало ей на долю собственноручно запалить родное подворье, а с ним и саму себя. Хорошо, что никто не видел, как она прятала бомбу. Пусть думают, рыщут, ломают голову — где? "И не спят ни ночью, ни днем, боятся до последнего своего издыхания". Пока еще видно: здесь жили люди; останки "просторной хуторской усадьбы" выглядывали на поверхность угловым камнем фундамент, осевшим бугром кирпича да двумя каменными ступеньками возле бывшего входа в сени". Еще можно понять, что жизнь ушла отсюда не сама, не по своей воле: из двух лип, "некогда красовавшихся возле хуторских ворот" осталась одна, опаленная и однобокая, "с толстым уродливым стволом". Даже вороны не садились на ее ветви, они "возможно, помнили что-то, а может, своим древним инстинктом чуяли в изуродованном дереве дух несчастья, знак давней беды".